

А кругом – взгромождённые ярусы,  
Облака – облака – облака...

*В. Ходасевич*

*Каменная осыпь длинным языком своим вползает в сосновый лес у подножья горы и в нём тережится. Огромные валуны и булыжники, когда-то бывшие единой монолитной скалой, прикрываясь зарослями малинника и мелким осинником, всё глубже врастают в землю. И только несколько глыб, сумевших прорвать передовую линию сосняка, гордо и осанисто выглядывают из рыжих останков опавшей хвои коренного леса. У основания одной такой, величиной с маленькую скалу, бьёт родник. Родниковая вода стекает в песчаное углубление и, переполняя его, тонкой струйкой по дну овражка перетекает в маленькое болотце.*

*На ровной, словно специально кем-то выбитой в камне площадке стоит мятая кружка. Чуть далее – костровище, за костровищем шалаши из еловых лап. У шалаша несколько холщёвых мешков, большой прокопчённый котелок, миска да пара деревянных ложек с отколотыми, а может, и обкусанными краями. На настиле из сосновых плах столярные инструменты: большой фуганок, лучковая пила, долота, скобель, моток бечевы, куски мела. Над поляной сизая пелена от тлеющих дымокуров. Дым сырых веток сегодня против комара в самый раз...*

*Хорошо отточенное закруглённое лезвие плотницкого топора легко входит в тело закреплённого на плахах соснового бревна и подламывает отделяемую щепу словно шерхебель. Лицевой кант получается ровным, без волн. В опытной руке топориче сидит плотно и усадисто. Дело делается знакомое, взмахи топора размеренные, без суеты и спешки. Спешка любому хорошему делу только во вред...*

*Он и дерево-то без суеты выбирал. Хотя, вроде бы чего его, дерево это, выбирать, оглянись – вон их кругом сколько! Бери любое. Не-е-ет. Для поклонного креста любое дерево не пойдёт. Чем*

выше будет крест, тем тоньше и крепче нужен брус. Хорошо бы, конечно, из дуба или там кипариса, только откуда в нашей тайге такие деревья?! Можно и из осины, да нужной высоты дерева среди осин не сыскал.

Остановился на сосне.

А уж как с деревом-то определился, дальше всё просто – спилил, обрубил со ствола сучья, перекинул бревно на заранее расчищенную поляну, на плахи уложил. Скобелем от коры зачистил. Для себя заранее решил – кант с тыльной стороны делать не будет – был бы кто в помощь, а так... Кант только по трём сторонам.

Разметил бревно, затеси сделал, да помолясь и за топор взялся...

Доброе дело всегда не в тягость. Душа и руки знали, что делают. Потянулись дни – летние, долгие, жаркие, после Ильи с прохладой, по сентябрю дождливые...

Работу, начатую долгими июльскими днями, закончил он только в конце сентября. По первым заморозкам.

Над сложенной из некрупных валунов и скреплённой по периметру брёвнами голгофе на небольшом возвышении у родника стоял восьмиконечный поклонный крест. Высокий, четырёхметровый.

Над главной вертикальной перекадиной две укороченные и одна косая, верхний край которой направлен к северу, нижний – к югу.

На малой верхней перекадине надпись: «Иисус Назорей Царь Иудейский»...

Ещё двое суток он не уходил от креста – прибирал поляну, жёг стружки, щепу. Молился. Последними в костры пошли останки шалаша...

Ну, вот, теперь на зиму и домой. А уж по весне здесь и часовенку можно ставить.

Негоже роднику святому без часовенки, сила в нём великая...

## 1.

Летняя ночь в лесу наполнена звуками: шорохами, стонами, чьими-то осторожными шагами, шуршанием опадающих листьев, потрескиванием сухих веток, криками ночных птиц, вздохами, протяжными скрипами деревьев. Чьи-то крылья с лёгким свистом прорезают прохладу ночи. Писк умирающей плоти.

Для жизни, как и для смерти не существует ни дня, ни ночи, ни смены времён года...

Но пока горит костёр, пока стреляют прогоревшие угли и в чёрное, почти угольное небо улетают искры, пока тлеет неспешный разговор, звуки ночи не беспокоят душу.

Но лишь только костёр догорит, ночь вступает в свои права: тьма и шорохи даже сквозь прикрытые веки пробираются в душу. Лёгкая тревога и беспокойство холодят сердце, а встревоженный разум наполняется воображаемыми опасностями.

И только вид безмятежно посапывающего во сне товарища рассыпает в прах ночные страхи. Сон наливает свинцом веки, глаза закрываются...

Пётр Фадеев и Иван Еремеевич Конев полжизни знакомы. А может, и больше. Одно время дружили крепко. Семьями. По молодости всю округу исходили-исползали, сначала одни, потом с жёнами, а после уж и с детьми. Каждую сопочку, каждую тропочку, каждую речку и ручейки наперечёт знали. И грибниками-ягодниками заядлыми слыли, и рыбаками-охотниками были. Да что говорить...

Потом жизнь развела. Конев в город с женой уехал, к сыну старшему. Да что-то там не задержался, не сжились как-то – в соседней области в леспромхозе обосновался. Фадеев к этому времени овдовел, квартиру детям оставил, сам на дачу перебрался. Благо, дача рядом с посёлком – да при машине это и не главное.

С той их дружбы годов-то много пролетело, но связь мужики не теряли. Сначала переписывались, а как сотовые телефоны в моду-то вошли – перезваниваться начали. А нынче, при оформлении пенсионных дел, Иван Еремеевич в посёлок-то собственной персоной наведалься, да в гости к Петру и заглянул. А в гостях и задержался. Куда пенсионерам торопиться?..

На третий день воспоминаний и на рыбалку выбрались. Заехали с вечера. Костерок, ушица, ну, соответственно, грамм по двести на брата – хорошо!

Коневу и место внове, и озеро незнакомо: без него уж Пётр это место с озером разведал. Ну, так

тем и интереснее, новое – оно ж всегда притягивает. Тем более друг наобещал кое-чего необычного показать...

Встали рано – только-только горизонт светлеть начал. Не спеша сполоснулись, на костерок чайничек взгромоздили. Холодной юшки похлебали. После вчерашнего принятого хорошо юшка на душу легла. Словно живая вода. А тут уж и макушки деревьев порозовели...

Солнце пропёкшимся блином выкатилось над лесом. Побежало рыжей дорожкой по озеру. Предутренний ветерок стих, и невесомый туман, цепляясь за кусты и травы, стал затягивать берега. Лик озера разгладился.

Сквозь зеленоватую толщу воды, сначала лёгким нечётким абрисом, затем всё явственнее стали прорисовываться контуры православного храма. Пять маковок его куполов блестели позолотой, белёные стены отливали серебром.

Заиграли заутреню. Чистый малиновый звон заструился над озером и притихшим лесом. На прибрежных раскидистых ивах перестала трепетать листва.

Ясный рассвет да долгая песня колоколов. Время застыло...

Но вот в лесу раздалось первое кукушкино: «Ку-ку...» – и гладь озера будто кто задел рукой, колыхнул ли невзначай, озеро подёрнулась лёгкой рябью, закачались кресты на куполах, изображение храма стало двоиться, троиться, а затем медленно растворилось в глубине озера...

## 2.

– Видел?..

Оторопевший Конев задумчиво и недоумённо мотнул головой.

– Видел...

Чуть помолчав, добавил: – И даже слышал...

– Звон колокольный?..

– Звон колокольный... Бред какой-то! Не бывает же такого!

– Не бывает... А здесь – сам видишь... Такое вот дело...

Иван Еремеевич ничего не ответил. Откинувшись спиной на ствол кривой берёзы, покусывая тонкую подсохшую былинку, смотрел он на озеро, в котором отражались проплывающие по небу облака.

Во всё, что только что произошло, поверить было трудно. Совершенно невозможно! Но ведь видел?! Видел. И даже слышал. Сам и видел, и слышал. Бред...

– Храм я видел. Пятиглавый. Заутреню играли...

– Ну, да, только поутру этот храм увидеть можно. И заутреню услышать... Да и то – не всем. Не первый ты, кого я сюда привожу. Но первый, кто вместе со мной и звон колокольный услышал, и храм увидел... И что ещё интереснее, озеро это я не всегда нахожу. И дорога вроде приметная, а бывает, не поверишь! – днями хожу, а озера нет... Многим рассказывал, так они у виска крутили – отродясь, мол, здесь никаких озёр, никаких храмов не было. Лагерь – да, был одно время, перед войной зеков нагнали, они тут лес валили, так и лагерь в пятьдесят пятом прикрыли. Одна колочка да труха от барачков...

– Если здесь ничего, даже озера этого нет, как всё вот то, что мы сейчас видели, объяснить?!

– Разве в жизни всё можно словами объяснить? Да и надо ли?..

Фадеев тяжело встал, подошёл к костру и снял с рогулины закипевший чайник...

Озеро жило своей обычной жизнью: на отмелях суетились мальки, в зарослях молодого камыша раздавалось чавканье и причмокивание сазанов, кормящихся озёрными травами, поползень головой вниз челноком сновал по обрубку старого пня, торчащему из воды у берега. Порхали над озером стрекозы, бабочки, в прибрежных травах стрекотали кузнечики...

Никакого таинства и никаких чудес. Обычное озеро в обычном лесу...

– Слушай, Петро, а может, здесь это, то самое знаменитое Беловодье, ну, которое рай на земле? Как думаешь? Ну, или там Китеж какой, а?

– Окстись, Вань! Беловодье на Алтае, там, где Катунь с Бахтармой сливаются, а Китеж на Нижегородчине, Светлояр озеро уж сколько веков. Мы-то от тех мест-то – у-у! – в какой дали. Думай малость. Беловодье, Китеж, а остальные видения?! Там, где люди живые: бабы, мужики?..

– Ну, а что тогда? Не просто ж так, картинки эти? Может, дурман какой озёрный?

– Ага, дурман – и только на рассвете?! А днём, значит, пожалста – рыбу лови?!

– Ну, а что? Может, в воде чего? – мы умылись, и попёрли видения разные...

– Да ну тебя, Иван! Несёшь не пойми что...

– А что? Вроде логично... Давно видишь, ну, картинки эти?

– Да уж три лета... Заболел я как-то. Сильно. В больницу меня свезли. Диагноз так толком и не поставили. Лечили от всего сразу. Сейчас понимаю – от жизни меня лечили. Лекари! Думал – всё! Ни таблетки, ни уколы – ничего не помогало. Доходил. На меня уж и врачи-то внимания не обращали, да и дети дорогу забыли, кому ж нужен покойник, хоть и живой пока? Короче, думал я, полный аминь мне и вечная память. Ну, а тут, в палате нашей, мужичок один лежал. Шебутной такой. Шило в заднице. Чем он болел, я так и не понял, да он и не распространялся. Тормошил всех, дёргал – закисать не давал. Мы в той палате все тяжёлые лежали. Каждую неделю кого-нибудь вперёд ногами выносили, а на замену на ту же кровать опять доходягу клали. Короче, перевалочный пункт – с этого света на тот. Ну и как-то после очередного отбытия подсел он, мужичок этот, ко мне. Ты, говорит, местный? Округу хорошо знаешь? Знаю, говорю, с малолетства по этим лесам шастаю. Вот мужик и говорит: а об озере с храмом слышал? Нет, говорю, не слышал. Это, говорит, ничего. Зброшенный лагерь знаешь? Знаю, говорю, кто ж его не знает. Вот, говорит, тебе туда, к лагерю, и надо. Ты крепкий. Дойдёшь. Я ему – да какой я крепкий, даже лежать уже не могу! А он мне – крепкий, крепкий, – вот скольких уж вынесли на погост, а ты всё держишься. В общем, так говорит: охотники, а то, бывает, грибки-ягодники по утрам к востоку от лагеря иногда колокольный звон слышат, будто заутреню играют. А никаких церквей, ни поселений там отродясь не стояло. Сам знаешь, тайга на востоке на сотни вёрст. Но ходили люди туда, а там – озеро. И вода в нём целебная. Вроде как живая. Кто до озера доходил, словно обновлённый возвращался. Кому-то и просто умыться хватало, а кому-то и неделю-другую приходилось на озере прожить, чтобы здоровьишко вернуть. Только не каждому то озеро открывается. Как уж оно кого выбирает, одному Богу известно. В общем, говорит, если жить хочешь – тебе туда, к озеру, на колокольный звон...

Я говорю – мол, а ты ж чего? Меня отправляешь, а сам? Давай вместе? А мужик мне – пробовал я, не единожды пробовал, не открылось мне озеро, видать, сильно я по жизни грешен или ещё чего там. Да теперь уж и поздно – сегодня и меня вынесут...

И точно, вечером прилёт тот мужик на кровать вроде как на минутку, а потом вдруг приподнялся, обернулся ко мне, махнул рукой: «К озеру, к озеру иди...» – откинулся на спину, вытянулся и всё, помер...

### 3.

Ноги не держали. При каждом шаге подгибались колени, кружилась голова. Тошнота подкатывала к горлу. Тяжёлый металлический привкус забивал рот. Дикое желание лечь, лечь и никогда не вставать! Боже, как плохо-то!

Испарина пробивала лоб, выступала над верхней губой. Дурнота то накатывала, то отступала...

Ухватившись за дужку кровати спинки, пытался он сделать хотя бы шаг, затем хотя бы два, три... А тело не слушалось и при каждом усилии начинало трястись мелкой противной дрожью. Однако...

Да, конечно, он знал, что слаб. Очень слаб. Но до такой степени?! Как же теперь в себя-то приходиться?!

А в голове одна мысль, словно её кто вдалбливает в мозг: «К озеру. К озеру надо. Там всё лучше будет. Всё лучше, чем в этих стенах...»

### 4.

– Короче, добился я выписки. Расписку оставил, мол, если со мной чего, то врачи тут ни при чём. Ходить почти месяц заново учился, – а то как обезноженному-то идти? – сто раз думал, сдохну! Только рассказ того мужика и держал меня на свете. В общем, к озеру я приполз, – не пришёл, натурально приполз, на карачках. Четверо суток от заброшенного лагеря на колокольный звон полз. Проснусь утром – слушаю – звонят? Звонят. Ну, я на тот звон и ползу...

В одно утро очухался оттого, что захлёбываться стал – что за дела, думаю? Оказывается, головой в озере лежу. Дополз-таки. Вот уж тогда я наглотался, напился воды до одури, в нутрях больно стало. Пью – остановиться не могу. А вода! Вкусная! Холодная – зубы ломит! Отполз к соснам, лежу, глаза в небо...

А тут и колокола заиграли. Лежу, плачу – светло на душе, легко, хоть лети...

За ствол сосновый ухватился, привстал, в озеро гляжу, а там храм в пять куполов сияет! Прямо вот как сегодня! И тут меня вырубило. Напрочь! Сколько под сосной валялся – не помню. Может, час, может, день – нет, не помню.

Когда в себя пришёл – день был. Солнечный. Тёплый. Помолился я. Как помолился? Да как сумел, так и помолился. Что помнил, что знал, как чувствовал – всё в кучу сгрёб. Такая моя первая молитва была. Собрался с силами, да в озеро и залез – искупался...

Так вот, в молениях да купании здесь три недели и провёл. Озеро-то это от родничка малого питается, с которого мы с тобой воду на чай, уху вчера брали. Родник тот освящён кем-то – видел, на камне рядом крест выбит? А ещё голгофу давнюю я здесь нашёл. Развалилась, правда, уж вся, брёвна в труху, камни раскатились, травой её затянуло, но всё одно углядеть её можно. Значит, крест здесь стоял поклонный. А уж время ли, люди ли от него и щепы не оставили – нам знать не дано. Думаю, и часовенка здесь была. Уж больно место для неё как раз...

Вот, значит, недельки через три окреп я, ожил и телом, и душой, домой засобирался. Утром того дня, как домой идти, под звон колокольный помолился, на озеро напоследок взглянул, да так столбом и застыл – жену, Клавдию, свою увидел. Вот как храм мы с тобой сейчас видели, так в озере Клавдию и вижу...

Тонко звенели комары, где-то неподалёку переругивались, что-то не поделив, птицы, надоедливо гудели и крутились у лица слепни. Любопытный бурундук, оседлав старый выворотень, разглядывал людей у озера. Шустрый выюрок, блеснув розоватым оперением, юркнул в дупло на сухой сосне. Выглянул на секунду, вроде как удостовериться – видел ли его кто? – и снова скрылся в своём убежище. Лето в разгаре. Всё в лесу жило и дышало в полную силу...

– Ну, чего замолк? – Еремеевича просто распирало любопытство, и хотя он ещё окончательно не решил для себя – верить или не верить во всё то, что произошло и происходит, ему страшно хотелось узнать, а что там дальше-то было? Да и ещё лёгкая обида подступала – дружок называется, за столько времени и ни слова! О чём только по телефону ни говорил, а об этой истории ни гу-гу...

– Рассказывай...

– А что рассказывать? – вижу я, улица наша деревенская, ну та, что вдоль пруда, не теперешняя, а та, что лет сорок назад, без этих, без коттеджей навороченных – и будто туманом всё каким слегка прикрыто, и Клавдия по улице идёт, не идёт даже – плывёт по тому туману. Воду, два полнёхоньких ведра на коромысле несёт. Ни капли не расплеснёт. Молодая, красивая... – Фадеев неожиданно замолчал, потом отвернулся к лесу и как-то вдруг по-детски, коротко и беззащитно шмыгнул носом...

Конец чуть помедлил и, не дождавшись продолжения рассказа, подсел к другу – Ну, ты это, Петро... время-то уж сколь прошло... не вернёшь ведь ничего...

– Такая, понимаешь, красивая! А мы, значит, неженатые ещё. А она воду, полным-полны ведра к дому нашему несёт. К будущему нашему дому. А дома-то ещё и нет...

А тут кукушка эта, нашла ж время! – закуковала, и всё... Так и не доглядел, что там дальше-то...

– Моя баба, если воду во сне видит, к добру, говорит...

– Так у нас с Клавдией только добро в жизни и было... Ты знаешь, с того случая я звон-то каждый раз слышу, а картинки храма озеро с картинками людей чередовать стало. Разных людей. Знакомых и незнакомых. Более всего мужика одного вижу. Плотник он. Да видать, не из последних. Пилит, строгаёт, но чаще топором работает – над бревном стоит, голова белым платком обвязана, и ладно так бревно-то обтёсывает. И справа, и слева. Без спешки. Красиво так работает. Аж завидно. Устанет, воды из баклаги попьёт, и снова за работу. А то сидит на бревне и что-то на плахах остроганных вырезает. Бывает, голову поднимет и долго-долго на меня смотрит. Я первые-то разы пугался было – ну, мало ли! – а потом пообвыкся, тоже на него гляжу...

Вот и сейчас – ты храм видел, а я его...

– Кого его? Плотника что ли? Как это? В одно озеро глядели, а каждый видел своё?! Что за бредятина?!

– Бредятина? Ну, не знаю... Ты подумай, представь – мы с тобой одновременно в зеркало глядим, и что видим? – ты – моё лицо, я – твоё. Или так: ты – своё, я – своё. Выходит, так и здесь – смотрим в одно зеркало, ну, то есть озеро, а видим каждый своё...

– А звон?

– А что звон? Звон мы оба слышим, звон от картинки не зависит. Заутреню играют всегда...

## 5.

День летний, хотя и долог, но приходит время – и он кончается. В разговорах за жизнь к теме утренней мужики не возвращались. Рыбачили, уху варили, рыбу на рожнах жарили. Иван Еремеевич под вечер на россыпь сбегал, пару рябчиков подстрелил – не зря же ружьё в такую даль по жару с собой таскил. Дикого лука нарвал, клубней саранок нарыл. Потом в фольге «подножный корм» этот вместе с рябчиками в углях запекли...

Ужин знатный получился. Только вот рюмочку под такой стол Фадеев принять отказался. Всё, говорит, нельзя мне более водочку. Иван, насмотревшись утром разных непоняток, уточнять, почему вчера было можно, а сегодня нельзя, не стал. Нельзя значит нельзя. Чего лишнего раз человеку в душу лезть? Сам-то принял с удовольствием, потому и спал крепко и хорошо. И ничего ему не снилось...

Проснулся Иван свежим и бодрым, словно все силы давно растроченные вернулись. Петра в палатке не было. Нашёл его Конев у озера.

Накинув поверх плеч толстый вязаный свитер, сидел Фадеев на комле старой ветлы у воды.

– Давно тут?..

– Давно. Считаю, не ложился. А ты долго спишь, счастливый. Я уж тебя будить хотел, да пожалел, уж больно сладко ты спал.

– Скучал что ль без меня? – Иван Еремеевич коротко хохотнул.

– Разговор есть. Серьёзный. Ты вот что, Иван, не обижайся на меня, мне сказать тебе много чего нужно. Поймёшь – благодарен буду, нет – значит не смог объяснить...

– Что-то ты круто, Петро, завернул. Хочешь что сказать – скажи, а я уж подумаю, как к тому относиться. А то ещё ничего не сказал, а уж – обижайся, не обижайся. Давай, что там у тебя?

– Помнишь, вчера я тебе о плотнике говорил? Так это он, плотник этот, здесь и поклонный крест ставил, и часовенку срубил. Позже в монахи постригся, облачился в рясу, камилавку, да в отшельники и подался. От людей ушёл: и от хороших, и от плохих, от радушных, и от завистливых, от суетных и неспешных. Здесь скит основал. Родник освятил. Жил в ладу с собой и миром. Да только у нас ведь как? – в какую глушь не заберись – всё одно дорогу к тебе отыщут. Пошли к нему люди. Всем помогал, кому словом, кому делом, никому не отказывал...

Сначала за помощью и с добром шли, а потом и со злом пришли.

Ты же знаешь, тогда, после смерти вождя всех народов, во многих лагерях забастовки да бунты начались, люди амнистии требовали. Насиделись ведь, наголодались до невозможности, набедавались до последней степени отчаяния. Где митингами да невыходами на работу обошлось, а где и до стрельбы дело дошло. Воркутинское да Норильское восстания самые кровавые были. Да и здесь, в нашем лагере, бунтовали. Вот те и, у которых кончилось терпение тянуть лямку лагерной зоны, те, что были на так называемой «таёжной командировке», смяли охрану на лесосеке, да в побег и ушли. Как тогда говорили, хоть час, хоть день, да на воле...

Отшельник и этих четверых, бежавших из лагеря, приютил. Думали они в скиту сил набраться, отлежаться немного, воздухом воли надышаться, да на материк пробираться. Не сложилось...

Предотвратить-то побег оперчекисты не смогли, но вот на отлов беглецов и сил, и людей у них хватило. Подняли всю вохру, армейцев нагнали, пограничников с собаками – быстро на скит вышли. А тут уж никто и ни с кем не церемонился...

Изначально не ставилось задачи кого-то задерживать, в лагерь таскать, судить, срок добавлять – нет, постреляли всех и сразу – и беглецов, и отшельника. Крест поклонный свалили, часовенку по брёвнышкам раскатали, да всё и в костёр.

Да и трупы никто в лагерь тащить не собирался – много чести. У каждого отрубили кисти рук – для опознания. Ну, на дактилоскопию. Для отчёта, значит – кто, когда, как. Тогда часто так делали. Трупы в болотце скинули...

А на другую весну на месте того болотца неожиданно озеро образовалось – как снег сходить-то начал, земля под болотцем и просела, да ровно так, словно кто круг прочертил. Вот с того времени и контуры храма в озере стали видны, да звон колокольный слышен...

– Слушай, Петро, а откуда такие подробности? Да и вообще, всё это, ну то, что ты мне сейчас рассказываешь, откуда?

– Видел. Всё, что рассказываю, сегодня своими глазами видел. В озере...

– Может, просто пригрезилось, приснилось?.. Задремал, а потом сон за явь и принял?..

– Не знаю. Может, и так. Только отсюда ты уйдёшь без меня.

– Чего это?.. – Иван удивлённо приподнял брови.

– Который год уж я думал здесь остаться, душе моей здесь покойно. Да всё не решался. А сегодняшние видения всё и решили. Здесь моё место. Крест восстановлю. Часовенку. Мучеников помянуть буду. Плотника-отшельника... Инструмент, кстати, его – здесь, в пещере потаённой, в ней же и иконы святые. Показали мне сегодня это место. А плотник я, – сам знаешь, без похвальбы, – не самый плохой, управлюсь.

– Ну, ты даёшь, Петь! Вот уж чего не ожидал от тебя, так не ожидал! Что за мысли!? На день, на два, на недельку укрыться в таёжной глуши от людей – это хорошо, и даже полезно, сам иногда так поступаю, но уйти на всю оставшуюся жизнь?! Отшельничество?! Зачем тебе весь этот ад?.. Не понимаю. Хоть ты что сейчас говори – не понимаю...

– Людям зачастую трудно отличить рай от ада...

– Да и храм этот, думаю, и не храм вовсе – облака это в озере отражённые. Чуть солнцем подкрашенные. Вот тебе и купола золотые...

Хотя, пусть даже и правда всё, что ты рассказал, пусть даже всё, что мы видели реально, и всё так здесь и было, – зачем тебе, именно тебе, и именно сейчас здесь оставаться?! Жил ведь ты без этого озера с храмом, да и к Богу что-то я не замечал у тебя большого интереса, зачем все эти мысли об отшельничестве, о часовенках, о крестах? К чему все эти подвиги?!

– Ты думаешь, я не спрашивал себя об этом? Спрашивал. Уж сколько лет, особенно после смерти жены, да и во время своей неожиданной болезни, днями, а особенно ночами, думал об этом. И так прикидывал, и эдак. Всю жизнь свою заново проживал. Всю душу свою перетряхивал. И не находил ответа. А сегодня утром всё сложилось. Так всё просто, и так всё ясно. Словно прозрел. Понял я, что у каждого из нас своя дорога к Богу. Своя. По которой рано или поздно нам нужно пройти. Я свою дорогу нашёл. И она привела меня сюда. Я дома. А облака ли в озере, храм ли...

Конец на слова Фадеева ничего не ответил. Казалось, что он даже и не вслушивался в то, что говорил ему друг. Сидел и отрешённо смотрел на каменную осыпь.

Рассветное солнце пробилось сквозь подушку облаков над гольцами, свежий ветерок заиграл листвою на деревьях и лёгкой рябью побежал по озеру. День вступал в свои права.

Наконец Иван медленно обернулся и каким-то долгим ищущим взглядом стал вглядываться в лицо Фадеева. И вдруг, даже не спросил, а выдохнул:

– Ты кто, Пётр?..

– Я? – Фадеев перевёл взгляд с озера на друга. – Я настоятель этого храма...

## 6.

*Негоже роднику святому без поклонного креста да часовенки, негоже...*

*Хорошо отточенное закруглённое лезвие плотницкого топора легко входит в тело закреплённого на плахах соснового бревна и подламывает отделяемую щепу словно шерхебель. Лицевой кант получается ровным, без волн. В опытной руке топорнице сидит плотно и усадисто. Дело делается знакомое, взмахи топора размеренные, без суеты и спешки. Спешка любому хорошему делу только во вред...*